

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Разновременье

2000 год

— Значит, вы все-таки решились? Смею вас уверить, что это совершенно правильное решение! Даже и не сомневайтесь! — с этими словами прыткий старичок изобразил одну из своих привычных ужимок и поскреб карандашом по ведомости. В месте поскребывания образовалась вполне себе солидная галочка, преувеличенно жирная справа.

Со старичком она виделась не впервые, а потому смотрела на него без прежней робости. Может быть, на этот раз он начал даже внушать ей симпатию. Таким мог бы быть какой-нибудь дальний родственник — обстоятельный, благожелательный, пронырливый, жаждущий приносить добро на закате жизни.

А ведь еще неделю назад он показался ей чуть ли не злым волшебником, который варит зелье из младенческих трупиков.

Слово «трупик» неприятно засвербело в мозгу. Ритмично, в идеальном соответствии с поскребыванием карандашного острия, которое, уже прочертив несносную галку, продолжало терзать бумагу.

Захотелось отогнать нехорошее слово. Другого способа, кроме как заговорить со старичком, она для этого не нашла.

— Вы так думаете? — переспросила она в очередной раз.

— О, уверяю вас, именно так я и думаю.

Старичок опять скроил ужимку, при которой одна из его бровей уж как-то очень сильно напоззла на глаз, словно пряча от непрошенных гостей невиданную драгоценность.

Девушка посмотрела на подвижную бровь с прежней опаской, но старичок, чуткий к настроениям клиентуры, тут же весь расправился и расцвел улыбкой. На этот раз, впрочем, неестественно обнажились вставные зубы.

«Злой, злой!» — опять пронеслось у нее в голове.

— Я же вам искренне добра желаю! — словно в ответ на эти мысли запел он. — Наичистейшего, если позволите так выразиться, добра!

Она не могла ему не позволить. Тут он был хозяином, а она — заинтересованным лицом.

Но почему же тогда ей все время казалось, что за всем этим стоит какое-то жульничество, какое-то вопиющее надругательство?

Над нею или над кем иным производилась эта несправедливость, она не понимала, но чувство это, как шелуха от семечки, засевшая в десне, ее не покидало и не давало расслабиться.

— И я ни о чем не должна заботиться... ну, лично?

— В этом-то и прелесть, моя прелесть. Прошу прощения за каламбур, но именно в этом и прелесть. Вам ровным счетом ни о чем не надо заботиться. Мы сделаем все сами. Вы практически и не почувствуете ничего обременительного. Ну разве что кроме самого, так сказать, ответственного момента. К чему, опять же так сказать, сама физиология обязывает. Но в остальном... — тут старичок решительно раскинул руки и слегка отшатнулся для равновесия и большей величавости, — никакого беспокойства. Никакошенького!

Девушка впитала его слова и — то ли уже совершенно убежденная ими, то ли помогая себе стать более убежденной — закивала.

— Ну, стало быть, договорились, — подытожил старичок. — Держите с нами связь. Сообщайте о своем состоянии и местоположении. Будут проблемы — не стесняйтесь, поможем решить. Ну и до встречи!

— Да, до встречи.

— До встречи.

— Да-да, до встречи.

Она поднялась с покрытого фальшивой кожей кресла, которое десять минут назад всосало ее с мягким и тихим хлюпом, а сейчас, словно с сожалением, выпустило и вздохнуло, набирая в освобожденную от тяжести полость воздух и грусть расставания.

Три шага до двери.

Скрип — и дверь настежь.

Скрип — и она уже закрывается за спиной.

А на ней табличка. С простой и ни к чему не обязывающей надписью: «Контора». А что за контора, по какому поводу контора — об этом никому знать не обязательно. А те, кто знает, не расскажут, проси не проси.

Женщина попала сюда по объявлению. А можно сказать, что и по чудесному стечению обстоятельств, которое подбросило ее заполненному слезами и расплывшейся тушью глазу то странное объявление. Это было ровно две недели назад, в почти такой же серый и скучный вторник.

Она тогда сидела на трамвайной остановке и совсем не знала, как ей быть. Как будто бы внутри нее тоже

проложены трамвайные рельсы, назначения которых она раньше не ведала и не хотела узнать. Как будто бы она просто предвкушала, что эти гладкие, уходящие за пределы видимого полосы обязаны вести к счастью. И как будто бы ее, ожидающую этого обещанного счастья, стоящую прямо на рельсах, переехал не предсказанный расписанием трамвай, дребезжащий и облупленный, невероятно мощный и не менее безжалостный.

Больше покоренные рельсы ее наивных чаяний никуда не поведут. Их выворотило из земли, завязало узлом, вздыбило в уплотнившийся от боли воздух. И она теперь совсем не знает, куда ей деваться.

И настоящего трамвая, который вот-вот появится на станции, она тоже ждет только лишь по инерции, потому что еще с утра планировала его здесь ждать.

А ведь сейчас уже необходимость в этом отпала. Ожидание бессмысленно. Ровно столько же толку было бы от того, чтобы перейти через настоящие рельсы и усесться на остановке напротив. И ждать там. И сесть в вагон с той стороны.

Потому что ехать теперь некуда и незачем. И сидеть на остановке незачем. И быть тоже незачем.

— А ты не плачь, — велел спокойный голос над правым ухом, чуть сверху и сзади.

— Ффффффф, — втянула она воздух заложенным от слез маленьким носом.

— Не втягивай, а высмаркивай, — продолжил раздавать свои распоряжения голос.

— А у меня платка нет.

— А ты в подол.

— Так я же в брюках.

— А ты в рукав.

— У вас на все есть решение?

— На все не бывает, а на решаемые вещи найдется.

Тут-то пора было бы обернуться и рассмотреть самоуверенного советчика, но ей почему-то не хотелось этого делать. Во-первых, звук мог не совпасть с картинкой, и, соответственно, человек, стоящий за спиной, мог оказаться несимпатичным и ненужным. А это было бы жаль, потому что голос его ей нравился.

Если же речь шла о милом человеке, то тогда не стоило показываться ему с расцвеченным размытой косметикой и недавно возникшим синяком лицом.

Впрочем, какая разница? Жизнь ведь все равно остановилась.

— Жизнь продолжается, хотим мы этого или нет, — констатировал голос.

«Он читает мысли», — подумалось ей тогда.

— А с синяком надо что-то делать, — ответил он, уже не так впопад (значит, не читает), зато выдвигаясь на передний план. Обладатель голоса, соответственно, заглянул ей в лицо.

Это был человек средних лет и средних внешних данных. На носу у него кривовато сидели очки с примотанной пластырем левой пластмассовой дужкой. В руках был портфель из кожи, и складки этого портфеля почему-то казались ужасно родными и теплыми, словно опущенные уголки бабушкиных губ, словно морщины бегемота, виденного в детстве, словно стертая годами перчатка учителя, поднявшего на ноги после того, как растянулась на неровном асфальте.

— А что с ним делать? — вспомнила она про синяк.

— Приложить мокрую газету.

— У меня нет газеты.

— У меня есть.

С этими словами он присел рядом, расстегнул портфель и извлек оттуда сильно пахнувший типографской краской номер.

— Газета вчерашняя, — зачем-то объявил человек.

Она решила уточнить, с какой целью это сказано, и сделала предположение:

— Это значит, что вы ее уже прочли и вам не жалко с ней расстаться?

— Я газет не читаю, — совсем странно ответил человек. — Ни вчерашних, ни сегодняшних.

— А зачем тогда вы носите ее с собой?

— Потому что дали.

— Потому что дали?

— Ну да.

— Кто дал?

— Ну кто обычно раздает газеты? Какая-то пожилая женщина в красном фартуке и в красной кепке. Она дала, а я взял. Мог бы и не брать — многие так и делали. Но я всегда беру то, что мне дают.

— Почему?

— Не почему, а зачем.

— Не почему, а зачем? — диалог становился все более невероятным.

— «Почему» — это чтобы объяснить причину происшедшего, а «зачем» — это чтобы указать на его цель и последствия. Согласитесь, задаваться вторым вопросом намного приятнее, чем первым. По крайней мере, вы смотрите не во вчера, а в завтра.

— Я запуталась, — объявила она.

— Я поясню, — согласился человек, без всякой, кстати, снисходительности или досады.

Она тогда высморкалась в рукав и приготовилась слушать объяснения.

— Вы желаете знать, что делает в моем портфеле вчерашняя газета. Все очень просто: она попала туда еще вчера, пока была сегодняшней, уже описанным мною ранее способом — из рук в руки, от женщины в красной униформе вашему покорному слуге. Первым побуждением одаренных газетами пешеходов бывает избавиться от всученного на ходу чтива и выбросить его в ближайшую урну. Это если мы имеем дело с интеллигентным человеком, ибо неинтеллигентный выбросит ее, не дойдя до урны. Я же никогда не выбрасываю того, что мне дали, так как постоянно руководствуюсь вопросом: а зачем? Зачем та или иная вещь попала в мои руки. Или в голову, например.

— Вам что-то падало на голову? — удивилась она.

— Нет, это я в фигуральном смысле. Имея в виду идею или информацию, которые часто попадают к нам таким же точно способом — навязчивым и непрошеным всучиванием.

— А.

— И. Спросив себя, зачем нечто стало моей собственностью, я не всегда сразу нахожу ответ. Но рано или поздно нахожу. Представьте себе, что вы не голодны, но ваша мама...

— У меня нет мамы, — встряла она.

— Сочувствую вам. У меня, кстати, тоже. Тогда не мама, а кто-то иной. Любой человек, который о вас заботится.

— У меня нет такого человека.

— Пусть это буду я, — предложил он.

— Для примера? — наивно спросила она.

— Если вы хотите, я могу о вас заботиться и вне рамок этого невольного урока.

— Спасибо, — только и сказала она и опять заплакала.

— А ты не плачь!

Эта фраза прозвучала ровно так же, как это было несколько минут назад, когда голос еще только нависал сзади и справа. Если бы она продолжала смотреть в другую сторону или закрыла глаза, звуковое тождество, наверное, отбросило бы ее назад, в прошлое. И весь успевший состояться разговор, должно быть, повторился бы один в один. Но сейчас она смотрела обладателю сломанных очков и вчерашней газеты прямо в глаза. А потому в прошлое было не вернуться, а надо было слушать дальше.

— Я дам вам банан, — между тем продолжил незнакомец.

— Спасибо, я не голодна.

— А у меня нет банана. Это я продолжаю начатый пример.

— А.

— И. Вы из деликатности, чтобы не обижать заботящегося о вас человека отказом, возьмете банан и положите его в сумку. А потом благополучно забудете его на целый день. Выйдете на обеденный перерыв. Съедите пюре с горошком или пиццу. И снова окажетесь сытой. А банан останется в вашей сумке. Пока по дороге домой вы не встретите голодного человека, для которого забытый вами банан может оказаться сокровищем.

— А как это голодный узнает, что у меня есть банан?

— Вы сами ему об этом скажете.

— А как я узнаю, что он голоден?

— Если ему будет нужен ваш банан, это произойдет неизбежно. Вы просто увидите и поймете. Или он сам подойдет и попросит еды. Или... Это, впрочем, неважно. Важно, что я с самого начала был уверен, что эта газета кому-то пригодится. И теперь я знаю точно, что этот кто-то — вы. И если вы мне позволите как можно скорее приложить ее к вашему синяку, есть шанс, что он будет менее заметен уже к вечеру. Максимум — к утру, когда эта газета станет позавчерашней и будет выброшена.

— У меня есть минеральная вода в бутылке, — сказала девушка.

— Ну, теперь вы видите, как прекрасна идеальными совпадениями наша жизнь?

— Жизнь совсем не прекрасна, — насупилась она.

— Я не буду с вами спорить, я буду бороться с вашим синяком.

— А вы не хотите спросить, откуда он взялся?

— Совсем не хочу, — ответил он. — Я нелюбопытен и по этой причине никогда не читаю газет. Но я всегда знаю то,

что мне надо знать. Такие вещи, как правило, не проходят мимо.

— А вы заметили, что трамвая все нет и нет? — вдруг спросила она, подрагивая от прикосновений холодной мокрой газеты.

— Трамваи, как правило, тоже не проходят мимо. Ваш придет тогда, когда настанет его время.

— Мой? А вы разве не ждете трамвая?

— Нет. Я предпочитаю ходить пешком.

— А что же вы делаете на трамвайной остановке?

— Лечу ваш синяк.

— А как вы здесь оказались?

— Я бы сказал, что шел мимо, но я ведь тоже, как правило, мимо не прохожу.

— Вы такой странный, — сказала она. — Совсем не похожий на других.

— Я уверен, что любой другой, заметивший плачущую девушку, поступил бы точно так же. Подошел бы и предложил свои услуги.

— Но у него могло бы и не оказаться вчерашней газеты.

— Это так, — согласился он. — Однако должен признать, что в медицинском смысле вчерашняя ничуть не уступает сегодняшней.

— У него могло и сегодняшней не оказаться.

— И это правда. Но вам и вовсе не стоит об этом думать, потому что к событиям состоявшимся сослагательное наклонение неприменимо. А так как я уже слышу приближающийся трамвай, то скажу вам напоследок три вещи. Первая: если я вам понадоблюсь, меня всегда можно найти в магазине старой книги напротив центрального рынка. Вторая: газету стоит подержать у синяка полчаса. И третья: мне кажется, вам тоже не стоит читать газет.

— А я их тоже не читаю, — улыбнулась она, вставая навстречу трамваю.

— И не стоит начинать.

— Не буду.

Но она его обманула. Уже через полчаса, сидя на другой трамвайной остановке — там, где ей надо было выходить, — она отлепила от скулы газету и уперлась глазом в объявление.

Оно гласило, что женщинам в таком же проблематичном положении, в котором оказалась она, можно обращаться в «Контору», где им помогут самым лучшим образом. Так что жизнь, чуть было не завершившаяся катастрофой, очень скоро выправится и еще станет хорошей.

В конторе ждал пряткий старичок, который сначала показался злым волшебником, а потом заботливым родственником. И решение было принято. Но только сейчас почему-то опять вдруг кольнуло то вторичное чувство, которое впервые появилось тогда же, две недели назад, на остановке. Чувство, что надо было послушаться человека с добрым складчатым портфелем и не читать газет. Газету, которую подсунул ей не кто иной, как он сам.

2024 год

И слепым людям снятся сны.

Им снится все то же, что и остальным, только без картинки. Вот, например, ему прямо сейчас снилась черешня. Сочная такая, тугая, нажмешь пальцами — пружинит. Надкусишь — истекает дивной, нежной, растворяющейся под зубами мякотью. Гладенькая такая черешня, мокрая, из пакета. На тонких палочках, от которых ее можно отрывать руками и губами. С немой упругой дрожью или со звонким чпоканием соответственно.

И шуршание пакета. Доброжелательное — мол, бери меня всего, раскрывай и используй. С гулким подхлупыванием стекающих на дно капель. С гладкой русалочьей хваткой, когда пакет прилипает к тыльной стороне ладони. С исчезающей вместе с каждой съеденной ягодой тяжестью. С грустью, которая сопровождает эту стремительно набирающую силу легкость. С сожалением от того, что черешня кончается. Конкретно в этом пакете и на рынках вообще — с окончанием сезона.

К чему снится черешня?

К лету?

К возвращению мамы из больницы?

К новой музыке, которая появится в наушниках поутру?

К сладким губам любимой девушки, которая сможет не испугаться связать свою жизнь с таким, как он?

Об этом он подумает завтра. А сейчас он спит, и ему просто снится черешня.

А потом она кончается во сне, и начинается другой сон. Про дождь за окном.

Это, наверное, оттого, что сначала ему снился мокрый пакет.

Так работает наш мозг: влага — к влаге, капли от мокрой черешни — к каплям, барабанившим по стеклу.

Дождь был сначала приятным, мелодичным, вкусным, а потом начал перерастать во что-то другое, тревожное и пугающее. Легкая дробь словно обтянутых в мягкую ткань палочек сменилась грозной, литавровой. И ритм сбился: то мелко-зернистый, то тяжелый, медленный, с синкопами, будто прихрамывающий то на одну, то на другую ногу.

В этом новом дожде было что-то знакомое. Напоминающее о чем-то уже слышанном и уложенном в голове. О Григе, что ли. Да, словно сразу несколько тем из «Пер Гюнта» смешались воедино и зашумели по окнам одновременно, но, конечно, не в унисон. Вот по одному стеклу явно проходит шествие гномов, а по другому — сам старина Пер возвращается на родину, в Гудбраннскую долину. Но гномы не дают, угрожают настырным форте. А Перу по барабану, он прет себе, так что чуть стекло не лопається под его шагами. И не отягчают его ни страшные воспоминания о замученных в цепях рабах, подвешенных за эти самые цепи на его собственной совести, ни дни, проведенные в сумасшедшем доме.

Почему «Пер Гюнт»?

А почему черешня?

Он просто спал и видел сны. И дождь из последнего сна омывал встрепанный город и выхолащивал из него все остальные звуки, кроме шлепков не на шутку зарядивших капель. Не осталось ни шороха шин паркующихся машин, ни кошачьего плача, ни ликования промокших путников, наконец-то добравшихся до дымящихся чайных кружек, ни треска сучьев, пожираемых пламенем, которое бездомные развели под широким городским мостом. Ничего не осталось. Только капли. Только гномы. Только шаги на родину.

А ему хорошо. Ему не страшен дождь, потому что он закутан в теплое одеяло. И ему снится одеяльный кокон — мягкий, синтепоновый, пропитанный странной смесью запахов: стирального порошка, шкафа и его собственного телесного аромата, который усиливается от лодыжек к шее и особенно на волосах.

Ему снится запах уютного дома. Запах смешивается со звуком дождя и заставляет его улыбнуться. Прямо во сне. Потому что ему славнo в своей кровати. И потому что он только что объелся черешней. И потому что маму завтра должны выписать из больницы.

Или это уже не мысль из сна? Может, он не заметил, как проснулся?

Но нет, он опять проваливается в сон. В котором дождевые струи вдруг проникают сквозь стекло и застревают у него между пальцами. И он начинает заплетать эти струи в косички. Тоненькие, нежные, но упругие.

Косички он всегда хорошо заплетал. Своей сестричке. Ее любимым куклам: Ларисе, Клариссе и Беатрисе.

Волосы были разные на ощупь, и он всегда знал, какую куклу держит в руках. Даже когда сестра обманывала его и называла другое кукольное имя, он всегда знал правду. А она никогда не могла понять, как ему это удастся.

Если бы она привыкла концентрировать суть жизни в кончиках пальцев, она бы не удивлялась.

А дождевые косички были еще приятнее, чем сестрины и кукольные. Они пружинили у него в руках с такой преданной мягкостью, что ему вдруг захотелось расплакаться. И он тут же заплакал, и начал вплетать упавшие на руки слезы в дождевые косы, и слушал Грига. Только теперь это уже, наверное, была песня Сольвейг.

Впрочем, во сне он бы не поручился за свою музыкальную грамотность. А проснувшись, скорее всего, и не вспомнит о том, что ему снилось.

Но какая разница? Это же будет только утром. А сейчас: тепло, одеяльный кокон, дробь капель, струи под пальцами и запахи.

Скрип двери.

Не во сне, а наяву.

Тени на пороге.

— Вы можете включить свет, ему это не помешает, — говорит отец.

— В этом нету надобности, — отвечает кто-то там. Кто-то, у кого еще нет имени и чей голос не вписан в картотеку голосов.

Или это все-таки ему снится?

Он издает слабый звук.

Дверь тут же закрывается.

Медленно, без нервов.

Зачем кто-то входил к нему в комнату посреди ночи?

Он не будет искать ответа. Ему это сейчас неважно, потому что сон затягивает его обратно.

Он переворачивается на другой бок, и из его приоткрывшихся губ стекает сладкая слюна, пропитанная черешневым соком.

О черешня! Такая гладкая, бодрая. И он начинает насаживать черешенки на дождевые косички. Как заколки — за черенки.

2001 год

В ясельной группе было гораздо больше порядка, чем на этаже детского сада. Оно и понятно: груднички еще не умеют балаганить.

Румяную няню звали Василисой, и в данный момент она двигалась по комнате как древний языческий дух: на что взглянет — то расцветает буйной порослью жизни, к чему прикоснется — то вибрирует восторгом и лопаются пузырьками звонкого смеха.

Крахмальный халат не сходится на груди. По спине вьется рыжая коса. Хороша девка — оценить только некому, вокруг ведь одни младенцы: пищат, скулят.

Но и они, с еще неразвитым мозгом и примитивной хваткой за недолгое пока существование, уже знают, уже как-то чувствуют, что Василиса — их шанс, их живительный источник, их материнский ствол, вокруг которого надо обвиться плющом. Цепко, намертво, ни за что не отпуская.

Василиса творит жизнь. Споро и весело заваривает кашку. Ловко наполняет бутылочки. А потом разносит их, прижимая рукой к животу сразу по десять штук, и вставляет в маленькие рты, которые открываются с благодарностью. И присасываются. И самозабвенно чмокают.

Вечером она будет их купать. Деловито, добротнo. И никому не попадет мыло в глаза. И никто не заплачет от горячей или холодной воды. Наоборот: те, кто уже умеет улыбаться, будут делать это, щербато и сладко.

Всем бы малышам такую няню. Но не во всех яслях так хорошо платят. А иначе бы им в глаза не видеть Василисы. И подмывала бы их, и невкусной кашей кормила бы совсем другая женщина, невеселая и придавленная невзгодами. И ничего бы в этой комнате не расцветало. И вместо смеха ее наполнял бы плотный несокрушимый плач. И пахло бы мочой и плесенью.

— Откуда у них такие деньги? — спрашивала у Василисы подруга.

— Почем мне знать? Мне дают — я беру, — отвечала рыжая няня.

— И ты за свою плату только за детишками следишь?

Подруга прищуривается, а Василиса пытается понять, в чем тут подковырка, в чем подтекст ее вопроса.

Не понимает, простая душа.

— За детишками. Ну там еще простынки накрахмалить, бутылочки помыть.

Подруга в изумлении. Простая няня в яслях, а поди ж ты — получает как аудитор какой-нибудь в приличном банке. Странно.

А вот Василисе почему-то это совсем не кажется странным.

— Наверное, наш директор просто детей любит и хочет для них как лучше, — предполагает она.

— Ну-ну, — ухмыляется подруга.

— А почему бы и нет? — бросается на защиту Василиса. — Они ж сиротки, у них никого в целом свете нет.

— Брошенные.

— Кто брошенный, у кого мамка родами умерла.

— Да разве ж в наше время умирают?

— Всякое бывает.

— А брошенных? Неужто так много?

— Хватает. Да к нам и из других городов привозят. У нас очень хорошая репутация.

— Частный сад для сирот на спонсорские деньги всяко лучше, чем по казенным интернатам маяться. Только все же не пойму я, зачем этому спонсору нужно нянчиться с чужими детьми.

— Нянькаюсь с ними я, — поправляет Василиса. — А у него, видать, просто доброе сердце. А может, он и сам сирота. Хлебнул горя в детском доме, вот и жалеет таких же, как он, подкидышей.

— Это вряд ли, — не соглашается подруга. — Они обычно злыми вырастают.

— Вот чтоб не выросли, он это и делает. В смысле, чтоб выросли, но не злыми.

— Тот, кого обнимала ты, злым не вырастет точно, — подытоживает подруга.

Василиса только поводит плечами, и при этом жесте ее большая грудь колыхается и словно манит: обопрись на меня, приляг поскорей, я самое надежное твое пристанище в этой жизни.

Любой из Василисиных воспитанников с этим бы согласился, если бы уже умел говорить.

С этим бы согласился и директор сада, который не раз и не два заглядывал в ясельную группу с одной только целью — увидеть рыжую красотку. Хоть бы и мельком. А если повезет притаиться за полуоткрытой дверью, то и долго,

внимательно разглядывать ее быстрое ладное тело, порхающее по комнате.

И то ли морок какой находил в такие минуты на директора, то ли фантазия играла с ним злую шутку, но часто казалось ему, что Василиса не касается ногами пола, но возносится над ним как минимум на пару сантиметров.

— Колдунья! — восхищенно шептал директор. — Баловница! Душка!

Но все его восторги оставались при нем, потому что любые романтические поползновения на работе были бы очень плохо приняты владельцем их образовательного заведения — строгим и загадочным Филантропом с большой буквы.

Он сам видел Филантропа всего один раз в жизни, и воспоминания об этой встрече засели в его голове как иголка, прокаленная в огне для извлечения занозы.

Казалось бы, использовал иголку — и отложи ее в сторону. Но в данном случае все было не так. Ею словно бы продолжали ковырять в директорском мозгу, и с каждым поворотом она вгрызалась в податливую материю все глубже и глубже, а на спине директора образовывался липкий ручеек не менее горячего пота. Вот каким воздействием на людей отличался Филантроп.

Был он не то чтобы страшен, а как-то зловещ. Не уродлив, но отвратителен. Наверное, потому что лицо его почти не обладало мимикой и он не улыбался ни шуткам, ни комплиментам — ни губами, ни хотя бы уголками глаз.

Взгляд его был пронизателен и пронзителен. При этом создавалось ощущение, что он впитывает суть изучаемого предмета за считанные секунды, а потом протыкает его насквозь и дальше идет по жизни с целой гирляндой нанизанных на взгляд, как на штык, абстрактных впечатлений.

Директор вострепетал на первой же секунде их знакомства и дальше уже мог только семенить следом да поддакивать, пока Филантроп проводил свой первый (и на данный момент единственный) ревизорский обход подведомственного им обоим заведения.

— Дети должны быть здоровы! — вот, пожалуй, единственная фраза, которую хозяин позволил себе произнести. Все остальные его движения осуществлялись в полной тишине.

— Здоровье — это наша первая забота! — поспешил заверить директор. — Врачи ежедневно делают обход, и еще

никто из малышей ничем серьезным не болел. Так, максимум простудка или газики.

А потом они зашли в ясельную группу, и на рапирообразный филантропский взгляд наткнулось румяное тело Василисы.

Станный момент. Словно рыжая жизнь и бледная смерть коснулись друг друга и замерли в ожидании кто кого.

Василиса приоткрыла рот в изумлении. Она как будто хотела спросить саму себя и окружающих, как в их краях пророс такой ядовитый мухомор. Но она ничего не сказала.

И он ничего не сказал. Но выдернул из нее свой пристальный взор и перевел его на директора, который вдруг почему-то начал неудержимо краснеть.

И тогда Филантроп словно прочертил глазами ровную линию, навеки отрезающую директора от Василисы. И тот сразу все понял. Что нельзя ему на нее посягать. Ни сейчас, ни потом и ни во веки веков.

Как он понял, неизвестно. Но уяснил железно.

Поэтому и сейчас мог лишь подсматривать за няней украдкой. И отлеплять не в меру наглые глаза усилием воли. И плестись обратно в кабинет, так и не обнаружив своего задверного присутствия.

Сегодня, впрочем, он имел полное право войти в ясельную группу и заговорить с Василисой.

Не по собственной воле, но по распоряжению начальства.

Потому что только что ему позвонили и объявили об ожидаемом прибытии еще одного младенца. Новорожденного. Со дня на день.

Вот почему директор пришел в Василисины владения и законно паялся на ее фантастический полет с бутылками каши.

— Вот что... — начал он.

Василиса обернулась и посмотрела просто, добро, выжидающе.

— Готовьте еще одну кроватку, — приказал директор.

— Сделаю, — пропела Василиса и взлетела над полом по направлению к бельевому шкафу.

2027 год

Телестудия, как всегда, бурлила. Все куда-то носились. В основном не с пустыми руками, а с бумажками, кабелями, стаканами и прочей подходящей обстановке бутафорией.

— Не туда! Не туда! — скандировал встрепанный пузатый мужчина. — Не в тот угол, я сказал!

И четыре ноги под цветной декорацией послушно замерли на мгновение, а потом развернулись и потопали в противоположную сторону.

При этом обнаружилось, что ноги принадлежат двум близнецам — в одинаковых шортах, в одинаковых рубашках, с одинаковыми прическами и с одной парой серег на двоих, каждому — в левое ухо. Как их мама друг от друга отличала? Может, и она не отличала, а уж посторонним-то ни за что не отличить.

— Скамейки будем ставить по периметру, — объявила дама со съехавшей набок прической.

— Так студия же круглая, — усомнилась совсем молоденькая девушка, по всей видимости дамина ассистентка.

— И у круга есть периметр. Вы, милочка, в школе плохо учились.

Дама укоризненно покачала головой, и ее прическа, влекомая центробежной силой, устремилась к правильной позиции, откуда снова неизбежно съехала набок.

Обреченные периметру скамейки покамест дыбились бесформенной грудой прямо посреди студии, а вокруг них, как вокруг горы Синай, сновали так или иначе задействованные в будущем шоу люди — избранный народ для грядущего откровения.

Все это великолепие открылось взору впервые прибывшего сюда юноши, который замер при входе и совершенно потерялся среди этого пока еще гулкого и недружелюбного телевизионного святилища.

Под ногами его извивались змеями толстые кабели, которые, конечно же, двигались не сами, а подчиняясь рывкам какого-нибудь техника. Но так как этого заклинателя змей в непосредственной близости не наблюдалось, то юноша, на всякий случай соблюдая осторожность,

установил себе под ноги в совершенной готовности в случае надобности перепрыгнуть или переступить.

— Что стоишь? — вдруг гаркнул на него пузатый мужчина. — По башке решил схлопотать? Вон смотри, что сверху на тебя прет.

Юноша послушно задрал голову и увидел оббитый сверкающими лампочками столб, который плавно приближался к полу, грозя задеть разяву своим внушительным основанием.

— Сюда иди! — приказал пузатый. — Ты что здесь делаешь вообще?

— Я от заказчика. Для отчета. Посмотреть, как продвигается.

— От самого? — почтительно переспросил пузатый.

— Да, — подтвердил юноша.

— Что-то не больно ты похож на его молодцов.

— Я не из охраны, я из последователей.

— Из апостолов, стало быть.

Юноша покраснел:

— Ну это как-то слишком громко сказано, не по чину.

— А вот скажи мне, что в нем такого, в этом вашем кудеснике? — прицепился пузатый. — Как он все это делает?

— Я не знаю как, — ответил юноша. — Не знаю и не допытываюсь, а просто верую.

— Просто веруешь... — повторил пузатый не то с вопросительной, не то с утвердительной интонацией. — Я думал, в наше время места вере не осталось. Все поддается научному объяснению. Все можно расщепить до мельчайших деталей.

— Можно, но страшно.

— Отчего же страшно?

— Оттого что тогда цели не останется, когда дойдешь до последнего рубежа познания. А вера безгранична. Держись за нее, и она никогда не оборвется, никогда не закончится.

— Крепко, однако же, ваш босс тебе мозги обработал, — сделал вывод пузатый. — Ладно, пойдем со мной. Я тут ответственный за оформление студии. Все тебе покажу.

— Спасибо.

— А звать-то тебя как? Меня Дастином. Актер такой был популярный — Дастин Хоффман. Моя маман его обожала, вот меня и наградила.

— А я 22-й.

— Чего? — брови пузатого поползли к пробору.

— 22-й — это мой порядковый номер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)